

Проблема «Россия и Запад» возникла в начале XVII века как неизбежное следствие усиления экономических связей России со странами Западной Европы. Первые западники: И. А. Хворостинин, «отдаленный духовный предок Чаадаева», по определению В. О. Ключевского, В. А. Ордин-Нащокин, Г. К. Котошихин, ранний идеолог панславизма Юрий Крижанич — таковы наиболее известные деятели, жизнь и сочинения которых неотделимы от этой кардинальной проблемы русского общественного сознания в XVII веке.

Петровское время дало новый толчок для уяснения и развития мыслей об отношении России к Западной Европе. Среди западников начала XVIII века мы встречаем и противников Петра I (В. В. Голицын) и его сторонников — участников «ученой дружины» (Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир). В дальнейшем возникает вопрос, «каково должно быть отношение России к Западу на основе Петровской реформы».¹ Движение страны по пути, начертанному Петром I, превратило ее в мощную державу, и на вопрос о необходимости усвоения Россией западной цивилизации русские мыслители второй половины XVIII века отвечали не столь категорично, как их предшественники. В высказываниях Д. И. Фонвизина, И. Н. Болтина, М. М. Щербатова появляется критический взгляд на многие стороны жизни

¹ Плеханов Г. В. Сочинения, т. XXII, М.—Л., 1925, с. 93.

Западной Европы. Резко колеблется позиция Карамзина — от прозападнических «Писем русского путешественника» до антипетровской «Записки о древней и новой России» (1811) и затем апологии Петра I в его речи в Российской академии (1818).

Общественные потрясения начала XIX века привели к обострению споров по проблеме «Россия и Запад». Тогда же возникает термин «славенофил», примененный к А. С. Шишкову и другим членам «Беседы». Ю. З. Янковский, автор книги «Из истории русской общественной мысли 40—50-х годов XIX столетия» (1972), посвятил целую главу («У истоков») изучению элементов славянофильской идеологии в эти годы. По сути дела формирование славянофильских настроений в начале XIX века прослежено в труде П. Христофа «Третье сердце».² Но в обоих этих исследованиях почти полностью обойдены 1830-е годы, которые непосредственно предшествовали расцвету славянофильства и западничества.

1 мая 1835 года Чаадаев сообщал А. И. Тургеневу о новой пьесе Н. В. Кукольника «Скопин-Шуйский»: «Вам известно, что этот Скопин Шуйский одно из замечательнейших явлений нашей истории, единственное, быть может, по своему размеру на всем протяжении наших летописей. Это цивилизованный герой, герой на западный лад. Между тем в драме не он является первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот последний — дикарь, варвар, своей варварской грузностью совершенно подавляющий Шуйского, и он — является великим человеком данного поэтического произведения. Ему, следовательно, аплодисменты, ему фанатизм публики. Вам понятно, куда клонит эта прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и направленные против всего, идущего с Запада, против всякого рода цивилизации, а партнер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли».³

Чаадаев имел в виду в первую очередь тираду Ляпунова из второго акта пьесы:

² Christoff P. K. The Third Heart. Some Intellectual—Ideological Currents and Cross Currents in Russia. 1800—1830. The Hague—Paris, 1970.

³ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II. М., 1914, с. 194. Подлинник по-французски.

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!..
Мы можем затопить, как наводнение!
Мы можем, как пожар, весь Запад сжечь!
У нас есть Крест, святейший из Крестов!
У нас есть меч, сильнейший из мечей!⁴

С этого времени Чаадаева обуревают мысли о том, что в стране все сильнее возбуждается ненависть к Западной Европе.

Год спустя, весной 1836 года, в Москву приехал Пушкин. И Чаадаев спешит послать ему записку: «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев».⁵

Они встретились. Отголоском их беседы явилось письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу от 25 мая 1836 года: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием *Современник*. Современник чего? XVI-го столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только».⁶

Трагический исход восстания декабристов и последовавшие вскоре события начала 1830-х годов (революции в Европе, польское восстание) вызвали существенные изменения в общественном сознании, привели к пересмотру исторических, философских, политических и нравственных принципов. Одним из симптомов этого идейного процесса явилась полемика между сторонниками самобытного развития России и мыслителями, пытавшимися привить национальной культуре чужеземные умственные побегии. Десятилетие спустя идейное размежевание приведет к созданию двух антагонистических течений — славянофильства и западничества. Пока же, в 1830-е годы,

⁴ К <укольник> Н. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. СПб., 1835, с. 57.

⁵ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. I, с. 190.

⁶ Там же, т. II, с. 205 (подлинник по-французски).

в напряженных спорах писателей пушкинского круга можно обнаружить более сложную и разветвленную «мозаику» мнений.

Разногласия, как обычно бывает в кругу единомышленников, накапливались исподволь, порой обнаруживались расхождения по тем или иным вопросам, и спорящим было невдомек, что частные расхождения могут привести к существенным различиям во взглядах. Между тем разномыслие в историко-философских вопросах оказалось столь глубоким, спор об историческом развитии захватил писателей пушкинского круга с такой силой, что порой можно было даже усомниться в их близости друг к другу.

«Философические письма» Чаадаева, статья Ивана Киреевского «Девятнадцатый век», монография Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине» с рукописными пометами на ней Пушкина и Александра Тургенева, стихотворение Пушкина «Клеветникам России», записные книжки Вяземского, письма Жуковского о запрещении «Европейца», записки Дениса Давыдова о польских событиях 1830—1831 годов — таковы наиболее существенные документы, помогающие нам воскресить небывалый накал идейных споров Пушкина, его друзей и литературных соратников по самым коренным вопросам русского исторического процесса.

22 сентября 1831 года Вяземский записал: «За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней...»

Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли* до *мысли* пять тысяч верст, что *физическая Россия* — Федора, а *нравственная* — дура».⁷

Аналогичную мысль высказывал Чаадаев: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили.

⁷ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Издание подготовила В. С. Нечаева. М., 1963, с. 214.

С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды... <...> Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы».⁸

Невыносимые политические условия николаевской России породили этот мрачный взрыв отчаяния в прозападнических высказываниях Чаадаева и Вяземского. Пристрастна и публицистически заострена философия истории Чаадаева:

«У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. <...> Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».⁹

Пушкин последовал совету Чаадаева; окинув взглядом «все прожитые века», он нарисовал картину, отличную от той, которую представил Чаадаев.

⁸ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II, с. 117 (подлинник по-французски).

⁹ Там же, с. 111 (подлинник по-французски).

«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?»¹⁰

По мысли Чаадаева, несходство исторических судеб России и стран Западной Европы объяснялось различным характером православия и католицизма; в господстве Ватикана видел Чаадаев панацею от всех социальных бед.

«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранима современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания».¹¹

С опровержением этого тезиса выступил Иван Киреевский, утверждавший, что «в России христианская религия была еще чище и святее». Как справедливо полагает Е. Мюллер, эти слова направлены против суждений Чаадаева, который вместе с Бональдом, Балланшем и де Местром считал схизму виновницей того, что Россия отстала на пути просвещения.¹² Однако дальнейшие рассуждения Е. Мюллера, полагающего, что в словах И. Киреевского нет положительного потенциала, нам представляются спорными. Конечно, эта фраза еще не предполагает развернутой критики католицизма, которая обнаружится в позднейших работах И. Киреевского, но тем не менее в эмбриональной форме здесь высказана мысль о нравственном превосходстве восточной церкви над западной.

¹⁰ Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969, с. 155—156 (подлинник по-французски).

¹¹ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II, с. 117—118 (подлинник по-французски).

¹² Müller E. Russischer Intellekt in Europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806—1856). Köln, 1966, S. 103.

Однако, если православие «чище и святее» католичества, то почему русское просвещение отстало от западноевропейского? Приведем аргументацию И. Киреевского.

«От самого падения Римской империи до наших времен просвещение Европы представляется нам в постепенном развитии и в непрерывной последовательности. Каждая эпоха обуславливается предыдущей, и всегда прежняя заключает в себе семена будущей, так что в каждой из них являются те же стихии, но в полнейшем развитии.

Стихии сии можно подвести к трем началам: 1-е, влияние христианской религии; 2-е, характер, образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю; 3-е, остатки древнего мира. Из этих трех начал развилась вся история новейшей Европы.

Которого же из них недоставало нам, или что имели мы лишнего?

Еще прежде десятого века имели мы христианскую религию; были у нас и варвары и, вероятно, те же, которые разрушили Римскую империю; но *классического древнего мира* недоставало нашему развитию. <...> недостаток классического мира был причиною тому, что влияние нашей церкви, во времена необразованные, не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви римской. Последняя, как центр политического устройства, возбудила одну душу в различных телах и создала таким образом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла его от нашествия иноверцев; — у нас сила эта была не столь ощутительна, не столь всемогуща, и Россия, раздробленная на уделы, не связанные духовно, на несколько веков подпала владычеству татар, на долгое время остановивших ее на пути к просвещению».¹³

Взгляды И. Киреевского на современную цивилизацию сложились под воздействием идей французской романтической историографии, и в первую очередь концепции Гизо. Исходя из того же представления об историческом генезисе западноевропейской культуры, что и Гизо, И. Киреевский лишь несколько смещает акценты, усиливая значение и роль классического древнего мира. Отсутствие этого важнейшего, по И. Киреевскому, эле-

¹³ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. в двух томах, т. I. М., 1911, с. 98, 100. — Из второй части статьи «Девятнадцатый век», набранной для № 3 «Европеяца», который не увидел света, так как журнал был запрещен.

мента лишило русскую образованность цельности и прочности западноевропейской цивилизации.¹⁴

Мысль И. Киреевского о влиянии античности на различие судеб России и Западной Европы разделяется современной наукой. Академик Д. С. Лихачев справедливо полагает, что «это было одной из причин, почему Предвозрождение не перешло у нас в Возрождение...».¹⁵

Оппонентом Чаадаева выступает и Пушкин. У него своя, особая позиция. «У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».¹⁶

Это позиция мыслителя, равно видящего теневые стороны и православия, и католичества. А в черновике этого неотправленного письма к Чаадаеву проскользнула мысль, полностью открывающая нам точку зрения Пушкина: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам» («La religion est étrangère à nos pensées, à nos habitudes»).¹⁷ Этой емкой фразой Пушкин отделил свои взгляды от религиозных устремлений западника Чаадаева и будущего славянофила Ивана Киреевского. Пушкин рассматривает историю России под иным углом, не отдавая предпочтения ни западной, ни восточной церкви: «Нет сомнения, что Схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные

¹⁴ Подробнее об этом см.: Müller E. Russischer Intellekt in Europäischer Krise, S. 99—106. — О генезисе этой проблемы, поставленной еще Гердером, а в России интересовавшей Венивитинова и Чаадаева, см.: Коуге А. La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX-e siècle. Paris, 1929, p. 152, 180.

¹⁵ РЛ, 1973, № 4, с. 118.

¹⁶ Пушкин. Письма последних лет, с. 155 (подлинник по французски).

¹⁷ Там же, с. 198.

границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена».¹⁸ В своем историческом экскурсе Пушкин опирался на высказывания Августа Шлецера.¹⁹

Концепцию Чаадаева Пушкин отвергал. А как он относился к рассуждениям автора статьи «Деятнадцатый век»? Если отвлечься от частного тезиса И. В. Киреевского о нравственном превосходстве восточной церкви, тезиса, выдвинутого мимоходом и не подкрепленного подробной аргументацией, то в целом его концепция должна была импонировать Пушкину. В конце статьи «Деятнадцатый век» И. Киреевский утверждал, что, восприняв плоды европейского просвещения, Россия, в свою очередь, эмансипируется от западного влияния и проявит свое превосходство, имманентно присущее русской народности.²⁰

Полемическим скрепчиванием мыслей Чаадаева, Пушкина и Киреевского не исчерпывались споры о России и Западе в пушкинском кругу. Не менее интенсивными были словесные поединки Пушкина, Вяземского и Александра Тургенева, касавшиеся исключительно светской, гражданской проблематики и не затрагивавшие вопроса о преимуществах католицизма или православия.

В «Автобиографическом введении» к собранию своих сочинений Вяземский писал, что Пушкин «хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался поня-

¹⁸ Там же, с. 155.

¹⁹ Там же, с. 330 (комментарий В. Э. Вацуру).

²⁰ Е. Мюллер не без основания полагает, что общественный резонанс статьи И. Киреевского «Деятнадцатый век» был бы несравненно глубже, если бы цензурное запрещение третьего номера «Европейца» не помешало появлению в печати второй части этой статьи (E. Müller. Russischer Intellekt in Europäischer Krise, S. 95). Между тем при анализе споров внутри пушкинского круга мы имеем право пользоваться полным текстом статьи «Деятнадцатый век», так как имеется письменное свидетельство И. Киреевского о том, что окончание этой статьи было им послано в Петербург Вяземскому в феврале 1832 года (см.: Вацуру В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плоскости». М., 1972, с. 124.).

тий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую».²¹

Это свидетельство подтверждается следующим рассказом Вяземского, занесенным им в «Записные книжки»: «Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по склонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: „А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек.“ Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границую, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с Любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый».²²

Словам Вяземского можно верить. Пушкин «русофильствовал», а сам он и Александр Тургенев защищали Запад.

И все-таки Вяземский несколько преувеличил свои расхождения с Пушкиным. Поэт был достаточно зорким, чтобы видеть в истинном свете значение петровских реформ для развития России; недаром незадолго до гибели Пушкин в письме к Чаадаеву утверждал, что Петр Великий «один есть целая всемирная история!» Столь смелая гипербола могла прийти на ум лишь такому мыслителю и историку, который понимал, как мощно и искусно подвигнул вперед страну государственный гений Петра I.

Неоспоримо, однако, то, что проблема национальной самобытности волновала Пушкина в большей степени, нежели Вяземского. Разный подход к этой кардинальной проблеме рождал между ними горячие споры. «Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на Фонвизина за мнения его о французах, и слишком отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями».²³

²¹ Новонайденный автограф Пушкина, с. 79, где текст исправлен по рукописи Вяземского.

²² Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 168.

²³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1878, с. LI.

Смысл этих строк «Автобиографического введения» Вяземского стал в полной мере понятен лишь в последнее время, после обнаружения помет Пушкина на рукописи монографии Вяземского о русском сатирике. Письма Фонвизина из Франции и Италии, с которыми полемизировал Вяземский, оказались крайне злободневными в начале 1830-х годов. Эти послания, написанные полвека назад, точно «накладывались» на споры о России и Западе. Критицизм Фонвизина, обнаруженный им во время путешествия по Западной Европе, вызывал одобрение Пушкина и порицание Вяземского.

Западничество католического толка Чаадаева, цивилизованное западничество Вяземского и Александра Тургенева, тенденция к национальной самобытности во взглядах Пушкина и русофильство Ивана Киреевского, имевшее в себе зачатки религиозных веяний зарождавшегося славянофильства, — таковы основные умственные течения, которые характеризуют споры передовых дворянских писателей в 1830-е годы.

Но как бы далеко ни расходились Пушкин, Вяземский, А. Тургенев, Чаадаев и И. Киреевский в оценке исторических судеб России и Западной Европы, в порицании, одобрении или беспристрастной оценке православия и католичества, имеется один первостепенный пункт, в котором все они сходятся, — отвержение общественного бытия современной им России, неприятие духовной атмосферы николаевского царствования.

«Поспорив с вами, я должен вам сказать, — признавался Пушкин Чаадаеву, — что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».²⁴

В спорах по поводу польско-русских событий Пушкин, Жуковский и Денис Давыдов единодушно выступали против взглядов Вяземского и А. И. Тургенева. Однако их общая позиция в данном конкретном вопросе объяс-

²⁴ Пушкин. Письма последних лет, с. 156 (подлинник по-французски).

нялась не идентичностью историко-философских построений, а отражала в первую очередь совпадение их взглядов на политические события тех лет. Этот тезис может быть доказан, если сопоставить философию истории Жуковского и Дениса Давыдова, во многом противоположные друг другу и в равной мере не согласные с историко-философской концепцией Чаадаева.

Известно остроумное суждение Жуковского о «Философическом письме» Чаадаева: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католичества, предвидеть, что католическою была бы она лучше — все равно, что жалеть о черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец за изменением цвета волос был бы и наружностью и характером совсем не тот, каков он есть. Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но она не была бы Россиею».²⁵

Жуковский метко обнаружил ахиллесову пятую рассуждений Чаадаева — антиисторизм его взгляда на прошлое России.

Сам Жуковский придерживался иной точки зрения; в письмах к Николаю I о запрещении «Европейца» он признавал исторически оправданным отличие судеб России и Запада, считал правомерным конституционный строй Англии и Франции и столь же правомерной русскую монархию.²⁶

Жуковский испытал воздействие идей французской романтической историографии. Осенью 1826 года он вместе с братьями Тургеневыми — Александром и Сергеем — жил в Дрездене и совместно с ними изучал труды новейших французских историков. 26 декабря 1826 года Жуковский писал Н. А. Вяземскому: «Посылаю Миньетову „Историю французской революции“; об ней можешь написать замечательную статью в „Телеграф“».²⁷

Общие же взгляды Жуковского на государственное устройство европейских стран восходит к концепциям

²⁵ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV, СПб., 1891, с. 388—389 (запись со слов Д. Н. Свербеева).

²⁶ Подробнее об этом см.: Гиллельсон М. Письма Жуковского о запрещении «Европейца». — РЛ, 1965, № 4, с. 114—124.

²⁷ Жуковский В. А. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М.—Л., 1960, с. 590.

XVIII века, и прежде всего к трудам Монтескье и Гегелена. Последний считал, что расцвет европейской культуры во многом обусловлен различием политических систем в странах Западной Европы.²⁸

Итак, для Жуковского нет дилеммы: Россия или Запад. По его мнению, каждая страна развивается своим путем, и нет необходимости ставить вопрос о преимуществах того или иного пути. Наконец, следует отметить общую оптимистическую тональность историко-философской позиции Жуковского; он твердо верит в постепенный исторический прогресс.

Диаметрально противоположное мнение высказывал Денис Давыдов; метко, здраво и дальновидно судил он о современной цивилизации:

«Но некогда Наполеон сказал: „Европа занималась чтением истории французской революции. — Я положил заметку и закрыл книгу. Заметка — моя шпага. Придет время, заметка выпадет, и Европа обратится к чтению книги, мною закрытой“.

Пророчество его сбылось, заметка выпала, — и все ринулись на поприще воскресших вымыслов, прений и переверотов. <...>

Возобновилась борьба годов 1789 и 1790. Гром оружия заменился напряжением гортаней и скрипом перьев. Поля Маренго, Аустерлица, Лейпцига, Бородина, Ватерлоо, Иены перенесли в палаты перов и депутатов, в журналы, в гостиные. И как тогда, так и ныне, те только покоряли и покоряют большую часть внимания, которые далее выдвигали и выдвигают вещественные и словесные батареи свои, оглашали и оглашают большее пространство звуками своими.

И после сего есть еще люди, которые думают, что все это усилие ратоборцев минувшей и настоящей эпох побуждаемо единым рвением к пользе общей, к доставлению человечеству лучшего благосостояния, большей свободы и просвещения.

Нет, нет! И тогда, и ныне человечество было и есть собрание цифр, которыми решались и решаются задачи личных честолюбий или корыстолюбий; и тогда, и ныне чувство побуждавшее и побуждающее к усилиям было и

²⁸ Heeren A.-H.-L. Handbuch des Geschichte des europäischen Staatensystems und seiner Colonien. 5. Ausg. Göttingen, 1830, I Th., S. 10—11.

есть неутомимая жажда к приобретению личной известности или личного достоинства! Всепоглощавшее я было тогда, всепоглощающее я ныне — вот причина! Война тогда, война и ныне, — вот следствие!

Разница только в образе битв, в оружии и в полях сражений. Разница в том только, что вместо Массен, Давустов, эрцгерцогов Карлов, Веллингтонов, Багратионов, Блюхеров, Кутузовых, мы видим Пепе, Квириго, Одиллонов, Гунтов, Окконелей, Могенов, Лелевелей, и что Наполеон, этот умственный феномен веков и мира, этот ослепительный метеор, облеченный в очарование высочайшей поэзии, заменен Лафайетом, девяностолетним дитятей в маскарадном платье польского гренадера!

Гомерического, баснословного, грандиозного размера битвы, с отпечатком гениальных соображений, — площадною свалкою черни в лохмотьях, и фразы Жюмий — фразами аббата Ламене, рассыпанными по глушцам мелкою монетою, но польза, благосостояние и свобода народов все остаются и определены вечно остаться на кресте между двух разбойников: *честолюбия военного и честолюбия гражданского*, разбойников не распятых и без раскаяния.

Будем откровенны: не нашего века желудкам варить такую пищу, какова свобода; на это надобны желудки древних римлян или спартанцев; они только безвредно для себя могли насыщаться и пресыщаться свободою. Их дюжая нравственность соответствовала благодати, которую провидение наделяет одни народы благочестивые и исполненные самоотвержения для блага отечества, страстно ими любимого, твердые в религии и добродетели, нужде, неге и роскоши.

И мы, мы, дышащие космополитизмом под именем *любви к человечеству*, как будто *люблю всех* не одно и то же, что *никого не люблю кроме одного себя*; мы, сухие скептики и аналитики всего святого в мире; мы, народы чахлые, гнилые, вялые и прозаические, мы смеем еще помышлять о святой свободе! О, это забавно! В одно время пользоваться и наслаждением разврата и стяжать награду за добродетель — да где это видано? Нет, будем достойны этой небесной манны, и она сама собою сойдет к нам с неба; но пока всепоглощающее я будет нашим единым рычагом, единым нашим идолом, единым нашим богом, до тех пор напрасны будут все наши усилия; и до тех пор наш удел один из двух: *рабство или*

анархия, удел тех же римлян и спартанцев, при падении их с высоты добродетели, набожности и любви к отечеству в то роскошное беззаконие, в то утонченное *себелюбие*, в коем мы ныне утопаем.

В нашей памяти и французская революция, и переворот июльский, и мятеж царства польского; все это, как говорили тогда, произведено было для блага общего; но назовите мне хоть одного из лиц, оказавшихся на поверхности сих кровавых событий, которому бы благо общее было выше собственного? Вы ни одного не назовете! У каждого, как у лисицы Крылова: *рыльце в пуху*».²⁹

Эти строки написаны Денисом Давыдовым чуть позже знаменитого «Философического письма» Чаадаева. По возрасту их исторические концепции почти близнецы. Но как они непохожи друг на друга!

Чаадаев мрачно оценивал русскую историю. Но стоило ему обратить взор на Запад, как скепсис сменялся надеждой; он полагал, что католицизм, противостоя светской власти, спасает европейские народы от засилия государства.

Денис Давыдов pessimistичнее Чаадаева; поэт-партизан нигде не видит земли обетованной. Лишь в прошлом, в золотом веке античности было светло и радостно. С закатом античной культуры кончились счастливые дни человечества. Современная цивилизация враждебна людям. Христианская легенда гласила, что спаситель мира был распят между двумя приговоренными к распятию разбойниками. С поразительной смелостью Давыдов переосмысляет этот художественный образ Нового завета: «...поль-

²⁹ Записки 1831 года Дениса Давыдова, знаменитого гусара, генерала, поэта и славного партизана (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 825). С незначительными разночтениями имеется другой экземпляр этих записок (ГПБ, F.IV, 478). Окончательный текст записок Д. В. Давыдова о польской войне 1831 года не установлен. Текст этих записок, напечатанный в «Русской старине» (1872, № 6), а также в сочинениях писателя (Д. В. Давыдов. Сочинения, т. II. СПб., 1893) имеет существенные отличия, по-видимому, позднейшего происхождения. В. Д. Давыдов, сын писателя, утверждал, что текст записок, предоставленный им редакции «Русской старины», снят с подлинной рукописи автора. Между тем сверка этого текста, хранящегося среди бумаг архива «Русской старины», с печатным текстом, опубликованным в журнале, показывает их неидентичность; поэтому приводим необходимую нам цитату по списку, соответствие которого авторской рукописи засвидетельствовано В. Д. Давыдовым.

за, благосостояние и свобода народов все остаются и определены вечно остаться на кресте между двух разбойников: честолюбия военного и честолюбия гражданского, разбойников не распятых и без покаяния».

Философия истории Давыдова беспощадна. Его аналитический ум бесстрашно разрушает все кумиры. Новый правопорядок, утвердившийся на развалинах феодальных монархий, не обольстил его. Проницательная мысль Дениса Давыдова распознала лицемерие буржуазного парламентаризма, заклеила презрением своекорыстие вождей польского национального движения.

Различная судьба была уготовлена историко-философским взглядам Чаадаева и Давыдова.

Первое «Философическое письмо» Чаадаева появилось в 1836 году в «Телескопе». Оно стало крупной вехой в истории русской общественной мысли.

Исторические прозрения Дениса Давыдова долгие годы оставались под спудом. Включенные в состав обширных записок о польской кампании 1831 года, эти паразитические страницы не обратили на себя внимания.

Настало время по достоинству оценить философию истории Давыдова — и не только историкам русской общественной мысли, но и пушкинистам. Ведь Пушкин, конечно, знал, как остро и верно судит современные порядки Денис Давыдов. Возможно, что он не читал рукописей давыдовских «Записок» о польской кампании. Однако несомненно, что во время споров о Польше в конце 1831 года Давыдов излагал Пушкину, Вяземскому, Жуковскому, Тургеневу и Чаадаеву свою философию истории, свое отношение к западноевропейской демократии. Две различные философии истории — Чаадаева и Дениса Давыдова — столкнулись в этих спорах. К сожалению, никому из участников не пришло в голову записать на бумагу доводы обеих сторон. В духовной жизни человечества некоторые потери невозможны. Мы никогда не узнаем подробности историко-философского диспута между Чаадаевым и Давыдовым. Но отголоски этого умственного ратоборства мы явственно различаем в «Современной песне» Дениса Давыдова, где Чаадаев назван «маленьким аббатиком», «что в гостиных бить призыв в маленький аббатик».

Католические симпатии «аббатика» Чаадаева были чужды Пушкину; ему более импонировала идейная по-

зияция Дениса Давыдова; во всяком случае несомненно, что Пушкин с сочувствием слушал остроумные, саркастические тирады Давыдова, которыми тот разил Лафайета и других западноевропейских парламентариев.

Философия истории Дениса Давыдова освещает новым светом стихотворение Пушкина «Клеветники России». Мы можем различить в нем не только *национальное* ядро — ответ на антирусские выступления Лафайета и других французских депутатов, — но и *социальный* стержень: неприятие буржуазных форм политической жизни. Ведь Июльская революция во Франции, вызвавшая выпады Дениса Давыдова по адресу Лафайета и других финансовых королей, была столь же неприязненно оценена и Пушкиным.

Рассмотренные нами материалы по истории общественной мысли писателей пушкинского круга в основном хронологически ограничены узким отрезком времени — 1830—1832 годами. Это дает нам право утверждать, что в начале 30-х годов прошлого столетия произошел идеологический «взрыв», проявившийся в интенсивной филиации русофильских и западных идей. Непосредственное отношение к этому умственному противостоянию имеет и Мицкевич, произведения которого по интересующему нас вопросу — семь стихотворений, посвященных России: «Дорога в Россию», «Предместья столицы», «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Смотр войскам», «Олешкович», «Русским друзьям», — стали предметом пристального внимания Пушкина в середине 1833 года. Как известно, вернувшийся из-за границы С. А. Соболевский привез Пушкину сочинения Мицкевича, в которых были напечатаны эти произведения. Соболевский вернулся в Петербург 22 июля 1833 года. Лично встречавшийся с Мицкевичем, он несомненно мог детально рассказать Пушкину о позиции последнего.³⁰ Таким образом, Пушкин очутился в достаточно критическом положении. Близкие его друзья и люди, с мнением которых

³⁰ Об отношениях Пушкина и Мицкевича см.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 157—206; а также многочисленные работы В. Ледницкого (Lednicki W. 1) O Puszkynie i Mickiewiczu slow kilka. Kraków, 1924; 2) Aleksander Puszkina. Studja, Kraków, 1926; 3) Pouchkine et la Pologne. Paris, 1928; 4) Russia, Poland and the West. London, 1954; 5) Pushkin's Bronze Horseman. Berkeley—Los Angeles, 1955).

он безусловно считался (Чаадаев, Мицкевич, Вяземский, А. И. Тургенев), не принимали, хотя и с разных позиций, его «русофильские» высказывания.

Между тем свой взгляд на самобытность русского исторического процесса Пушкин вынужден был защищать и вне круга передовых дворянских писателей. Полемицируя с Н. А. Полевым, поклонником французской романтической историографии, Пушкин писал: «Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизо-том из истории христианского Запада» (XI, 127). Как справедливо отмечено А. Н. Шебуниным в рецензии на статью П. Попова «Пушкин в работе над историей Петра I», представление о том, что отсутствие в русской истории эпохи феодализма обусловило коренное отличие исторических судеб России и Запада, было внушено Пушкину еще на лицейской скамье; именно так излагал историю И. К. Кайданов, опиравшийся на труды Геерена; подобный подход должен был укрепиться в сознании Пушкина и под влиянием бесед с Н. И. Тургеневым, «геттингенцем», учеником Геерена.³¹

Положение Пушкина осложнилось после того, как идеологи николаевского царствования подняли на щит идею русской народности. Назначенный в 1833 году на пост министра народного просвещения С. С. Уваров изобрел триединый идеологический девиз: «самодержавие, православию и народность». В литературе эта линия нашла свое отражение в первую очередь в творчестве Ф. В. Булгарина и Н. В. Кукольника, к произведениям которых Пушкин, как известно, относился отрицательно. Таким образом, оказалось необходимым отграничить свою позицию от официозных идеологов.

Усиленные занятия историей Петра I, размышления над причинами петровских реформ давали возможность глубже вникнуть в истоки новой истории России. Наконец, несколько улегшиеся политические страсти, вызванные Июльской революцией и польскими событиями, способствовали стремлению более спокойно рассматривать проблему «Россия и Запад».

³¹ Временник Пушкинской комиссии, 2. М.—Л., 1936, с. 438.

Осенью 1833 года в Болдино Пушкин пишет «Медного всадника». Замысел этой поэмы, по-видимому, имеет отношение к беседам Пушкина с Мицкевичем и Вяземским в 1828 году. На полях сочинений Пушкина против строки «Россию поднял на дыбы» Вяземский написал: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнался вперед».³² Трудно с достоверностью откомментировать эту вырванную из контекста реплику. Зная, однако, многие положительные высказывания Вяземского о царствовании Петра I, можно предполагать, что он отрицал не европеизацию России, а азиатские методы этой европеизации, примененные Петром I. По всей вероятности, Пушкин разделял подобную точку зрения. Но как бы там ни было, афористическое суждение Вяземского запомнилось Пушкину и было им использовано в «Медном всаднике». Таким образом, проблема «Россия и Запад», возникавшая во время дружеских споров конца 1820-х годов, присутствовала в сознании Пушкина во время написания «Медного всадника». И хотя эта тема не звучит открыто в поэме, тем не менее она в ней присутствует, составляя скрытую историко-философскую подоплеку поэмы.

Споры конца 1820-х годов, дальнейшая полемика об отношениях России, Польши и Западной Европы, связанная с политическими событиями начала 1830-х годов, обсуждение монографии Вяземского о Фонвизине, наконец, стихотворения Мицкевича, посвященные России, — весь этот комплекс общественных, политических, исторических и литературных ассоциаций стимулировал творческую мысль Пушкина во время написания «Медного всадника». По воспоминаниям П. П. Вяземского, в чтении поэмы самим Пушкиным Евгений произносил перед памятником Петру I монолог, в котором «слишком энергично звучала ненависть к европейской цивилизации». Д. Д. Благой, обративший внимание на мемуары П. П. Вяземского, писал: «... в своем монологе Евгений был бы на прямом пути от знаменитого дворянского идеолога Екатерининских времен, кн. Щербатова («О повреждении нравов в России») и Карамзина периода «Истории Государства

Российского» (см. в «Записке о древней и новой России» место о Петре) к славянофилам, но отсутствие каких бы то ни было следов его во всех имеющихся рукописях делает утверждение П. П. Вяземского достаточно шатким».³³

Вероятно, П. П. Вяземский что-то спутал. Но как бы там ни было, его свидетельство позволяет утверждать, что в сознании близкого к Пушкину современника содержание «Медного всадника» ассоциировалось со спорами о России и Западе. Подспудно те же споры отразились в знаменитом пушкинском сравнении Петербурга и Москвы во вступлении к «Медному всаднику». Спор был давний. Ведь еще И. Н. Болтин и М. М. Щербатов высказывали сожаление, что Москва перестала быть столицей. В последнее время собран обширный материал, доказывающий, что тема соперничества Москвы и Петербурга занимала умы современников и в 1830-е годы.³⁴

В «Медном всаднике» Евгений — деклассированный дворянин, мелкий чиновник, безвестный петербургский житель. Зачеркнувший свое прошлое, потерявший связь с «почиющей родней», Евгений отрекся, по сути дела, от своего класса, перешел в третье сословие (ср. с черновиком «Езерского»: «Из бар мы лезем в tiers-état»). Для Евгения «всепоглощающее я» (если пользоваться терминологией Дениса Давыдова) единственное чувство, побуждающее к действию.

Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год, другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...

В этом апофеозе скромного достатка, где вся вселенная ограничена семейным кругом, чувствуется бездуховность героя.

³³ Благой Д. Социология творчества Пушкина. М., 1931, с. 276.

³⁴ Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 150—170.

³² Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1936, с. 387.

Мизерность современного человека показана Пушкиным на широком фоне — от жалкой «конуры» Евгения до Зимнего дворца.

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славою правил. На балкон
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.

Сверхчеловеческой энергии Петра I противопоставлено безволие Александра I, героическим делам царствования Петра I — повседневная ограниченность, историческая близорукость петербургского обывателя пушкинского времени. Пушкин не видит ни одного Героя среди своих современников. И снова возникает сопоставление с мыслями Дениса Давыдова, который по контрасту с Наполеоном показывал ничтожность современных политических деятелей.

Сложная историческая и политическая обстановка 1830-х годов вызывала противоречивые тенденции в историко-философских взглядах Пушкина; его высказывания в защиту русской государственности отражали прочную веру поэта в историческое предназначение России, веру, столь энергично выраженную в одическом вступлении к «Медному всаднику»; его скептическое отношение к современной цивилизации, отношение, которое в своих основных чертах совпадало с позицией Дениса Давыдова, происходило от отрицания николаевского самовластия, от неприятия буржуазных порядков Западной Европы и социальных перемен, вестников проникновения в Россию духа буржуазного предпринимательства.

Различные точки зрения по философии истории, высказывавшиеся писателями пушкинского круга в 1830-е годы, убеждают нас в том, что в этой среде шли напряженные споры по кардинальным проблемам исторического развития. Таким образом, идейная жизнь Пушкина этих лет неотделима от того умственного брожения, которое даст себя знать в ближайшее десятилетие; споры Пушкина и его литературных соратников являются *прологом* тех отчаянных прений в московских гостиных, которые так ярко воссозданы Герценом в «Былом и думах».

1832 год — черный год в летописях русской культуры. Закрытием «Европейца» правительство начало многолетний крестовый поход против сил прогресса и истинного просвещения, во славу «самодержавия, православия и народности».

Писатели пушкинского круга (да и другие литераторы) вскоре поняли, что стремительное возвышение экзархамаса Уварова не сулит им ничего хорошего. И они не ошиблись! Их бывший сотрапезник, не раз разделявший с ними когда-то арзамасского гуся, стал воздвигать, по его собственному образному выражению, «умственные плотины». Все враждебнее косились в гостиных на тех, кто осмеливался иметь свое мнение. Его не должно было иметь! Думать полагалось по казенному ранжиру.

Оставаться на родине становилось невозможным, и летом 1832 года Александр Тургенев вновь отправляется за границу.

«18 июня. <...> В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров с сыном провожали нас...¹ В час — тронулся пароход. Я сидел на палубе — смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставляя в Петербурге, ибо Жук<овский> был

¹ Велгурский — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), хозяин музыкального салона. Мюральт Иоганн (1780—1850) — пап-стор-реформатской церкви в Петербурге. Федоров Борис Михайлович (1794—1875) — литератор, помогавший Тургеневу в перепишке исторических документов из иностранных архивов.